



Воскресенье 22-го июня 1941 года было чудесным летним днем. Ленинградцы после трудовой недели отдыхали: катались на лодках, уезжали в Петергоф, Детское Село, собирали ягоды, рвали цветы. Я же с группой аспирантов готовился к предстоящему экзамену по философии. Неожиданно громко заговорило радио: война...

Был митинг, деловитый и краткий. Преподаватели, студенты, аспиранты говорили о готовности идти добровольно на фронт... **25-го июня я был уже в Луге, где формировался 262-й отдельный стрелковый батальон.** Расположились в поле, рыли окопы, рыли, закладывали мины...

Тот, кто прошел фронт и уцелел физически и духовно, хранит в себе не только память об опасностях войны и горьких утратах, которые в боях неизбежны. Он помнит и другое: фронтовую дружбу, товарищеское единство, общность дела и особую слитность чувств всех бойцов.

Обстановка на фронте тогда была тяжелой. Пылали склады с продовольствием, обмундированием, над нами летали фашистские самолеты, горели колхозные деревни, по полям бродил скот. Население уходило на Восток.

Первые бои батальон принял около станции Сольцы, в глубоком окружении. Не верьте, что перед боем не страшно. Нет, страшно. И так хочется жить! **Батальон наш был разбит. Я был ранен в левую ногу и контужен. Долго лежал без сознания на опушке леса. Пришел в себя от команды: "Кригсгефангене, ауфштеен!" ("Пленные, встать!").** Немцы согнали нас на голое поле. "Всем - лежать, кто встанет - расстрел". Тело ныло, болело, сознание было подавлено случившимся. До Риги гнали нас пешком. Колонна измученных, полубольных, раненых красноармейцев двигалась медленно. Упавших тут же пристреливали. Вдоль дороги лежали трупы, стояли обгоревшие танки.

Привокзальная площадь в Риге была обтянута в три ряда колючей проволокой. Шли осенние дожди... Нас загнали в лагерь военнопленных. Голод, холод, болезни подрывали наше здоровье.

По утрам в лагерь приезжала телега, запряженная парой тяжеловесных лошадей. В

нее бросали трупы. Иногда в телегу попадал полуживой человек. Он пытался кричать слабым голосом: "Я еще живой", но возница отвечал: "Лежи, все равно скоро умрешь..."

Однажды я случайно попал в команду пленных, предназначенную для работы. Нас посадили в грузовую автомашину и повезли за двести километров, в Виндаву. Небольшой лагерь, человек на семьсот. Бараки, нары... В серых сумерках раннего утра всем выдавали по миске супа из гнилой капусты, по двести граммов хлеба с опилками и гнали на работы в порт. Мы грузили корабли углем, дровами, досками, шерстью. Работали по 16 часов в сутки. Фашисты относились к нам как к скоту. Они издевались над нами, били, кололи штыками. Был среди нас пленный Орехов, колхозник со Смоленщины. Немецкий офицер приказал ему петь, но он отказался. Тогда Орехова поставили к стенке и расстреляли.

Командантом лагеря был некий Лашкин, а охранял его полицаи, по кличке Дубина. Он ходил с палкой, на которой было вырезано: "Дисциплина"...

Как-то во время работы на лесопильном заводе ко мне подошла женщина, высокая стройная латышка. Она дала мне хлеба, вареной картошки и кусочек сала. В ее глазах было столько скорби и ужаса. В хлебе была записка, с ее адресом и фамилией. Звали ее Анна Гринберге. Мне не пришлось больше попасть на этот завод, но с женщиной завязалась переписка. Я посылал Анне письма с одним моряком, молодым парнем из Москвы. Она умудрялась передавать мне хлеб, картошку, сало, иногда молоко. Все полученное мы делили с товарищами. Чувство огромной благодарности к этой женщине согрело нашу горькую жизнь. Анна прислала мне теплую шапку, варежки, носки. Латыши сочувствовали нам и поддерживали как могли. Мы чувствовали с их стороны симпатию к нашему народу. Хотелось жить и бороться. Скованы крылья, подавлена душа, но впереди сквозь мрачную ночь войны мы видели светлые огни Победы.

Однажды ночью нескольких человек, в том числе и меня, сняли с нар и посадили в холодную, не топленную избу - карцер. Холод пронизывал душу и тело. Дней через десять нас доставили в большой Рижский лагерь, где формировался этап для отправки в Германию.

В вагоны для скота до отказа набили пленных. Сидеть было нельзя. Мы стояли, навалиясь друг на друга. Утром открывались двери, солдаты штыками выбрасывали трупы, ставили ведро с водой и бросали буханку эрзац-хлеба на пятёрках. Девять суток длилось наше путешествие в Германию.

Привезли нас в большой лагерь около Гамбурга. Стандартные бараки из теса, окрашенные в коричневую краску. Половина лагеря - для русских, вторая - для иностранцев. Измученные и голодные, смотрели мы из-за колючей проволоки на французов, поляков, сербов.

Один серб принес мне шинель и пилотку. "Една кров, братушка, една кров - славяне, глава одна", - сказал он и пригласил меня в свой барак. Я прошел в лагерь соседей. Сербы и хорваты встретили меня по-дружески, накормили, дали хлеба, папирос, продуктов (они получали посылки Красного Креста).

Поляк-переводчик донес об этом немцам. Меня привели в лагерную полицию. Били... Потом посадили в одиночную камеру, а затем отправили в штрафной лагерь, на торф. Три месяца с утра до ночи, стоя по колено в воде, я резал торф, складывал его в штабеля, возил глыбы торфа на тачке. Работа была тяжелая, но, благодаря движению и свежему воздуху, я немного окреп.

В 1943 году большую группу пленных заковали в ручные кандалы и в трюме большого парохода доставили на остров Гельголанд в Северном море.

Перед нами открылась большая голая коричневая скала. На вершине ее виднелся большой крест. Рядом - кирха, церковь. У подножия гор - небольшие двухэтажные дома. Растительности никакой. Гладкие голые скалы...

Нас перегнали в северную часть острова, где стояли два барака, обнесенные колючей проволокой. Конвоиры пересчитали нас. Всего оказалось 800 человек.

Шумело холодное, удивительно светлое, чуть зеленоватое Северное море. Видно было, как стайками плавала в воде макрель, красивая золотисто-синяя рыба. С криком пронеслись большие морские чайки. Они опускались на волны, ныряли и снова взмывали в воздух.

На острове строился аэродром, воздвигались доты, бетонировалась площадь. В 1944 году над

Решение пришло не сразу...

Четырехлетняя Ниночка была самой младшей в своем интернате, когда его расформировали, часть воспитанников переходила в наш интернат, в деревню Медведово, и Нина в их числе. В деле Лейхтман Нины Львовны значилось: отец пропал без вести, мать убита при обстреле г. Ленинграда.

Приехала комиссия для оформления передачи детей и имущества. Привели детей. При виде незнакомых людей Ниночка смутилась, а страшное название - Медведовский интернат - окончательно расстроило ее. Оглядываясь кругом, она вдруг остановила на мне свой взгляд и бросилась ко мне с громким плачем и возгласом: "Мама, мама!" Я посадила ее на колени и, стараясь утешить, говорила ей ласковые слова. Постепенно девочка успокоилась, только большие черные глаза ее смотрели грустно. Она все крепче прижималась ко мне, обхватывала руками и доверчиво повторяла: "Мама, мама".

В интернате тепло встретили вновь прибывших. Новые воспитанники быстро освоились с обстановкой и влились в коллектив. Только Нина не отходила от меня и продолжала называть меня мамой. И я привязалась к ней.

Решение пришло не сразу, я долго обдумывала его. Я понимала, какую беру на себя ответственность, сколько трудностей и хлопот предстоит мне. Но, взвесив все, я твердо решила: возьму Ниночку на воспитание. И вот выполнены все формальности, произведена регистрация в книге записей Медведовского сельсовета и Нина стала моей законной дочерью, а я - ее мамой.

Листмангоф,
заведующая интернатом № 26, деревня Медведово

Все ребята скучают по дому

(из письма в Ленинград)

"...Конечно, все ребята скучают по дому, особенно старшие. Малыши ко всему легче привыкают, да некоторые и плохо помнят дом. Вот, например, Валя Росина. Ей было всего полтора годика, когда ее вывезли из Ленинграда, еще говорить не умела. К кому она обращалась со своим первым словом "мама"? Конечно, к тому, кто был ей ближе всех - к нянечке Насте. Так и до сих пор называет ее "мама Настя". Знает из рассказов, что есть у нее в Ленинграде другая мама, с которой она будет жить, когда окончится война, даже рада, по примеру других, когда получает от мамы письмо, но, конечно, ее себе совсем не представляет. Спрашивает: "Мама Настя, в Ленинграде будет интернат?" - "Нет, - говорит Настя, - в Ленинграде ты со своей мамочкой будешь, с мамой Марусей". - "А ты, мама Настя?" - "А я буду жить со своим сыночком, с Шуриком. Ты будешь приходить ко мне в гости". - "Я буду приходить к тебе жить", - решила Валя.

Хуже - с папами. Папой называть некого. Расскажу такой случай. Приехали как-то с обследованием двое мужчин - пожилой из обкома и молодой паренек - из райкома комсомола. Зашли в комнаты к дошколятам. Те, как увидели паренька, окружили его, забираются на колени, на плечи, и сначала Женя Горелик крикнул: "Папа!", а за ним все наперебой как закричат: "Папа, папа!". Паренек очень смутился, потом растрогался, стал с ребятами играть, возиться и, уезжая, вдруг нам говорит: "Знаете, у меня нет детей, но обязательно будут!"

О. Орлова,
воспитательница интерната Гос. Эрмитажа, ст. Ляды